Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке http://chukovskiynikolai.ru/ Приятного чтения!

Девочка Жизнь. Николай Корнеевич Чуковский

Рассказ

Прошло ровно двадцать лет с тех январских дней 1944 года, когда немцы, осаждавшие Ленинград, были разгромлены и бежали на запад. Осада Ленинграда продолжалась два с половиной года, и за эти два с половиной года жители громадного города перенесли неслыханные страдания. Около миллиона ленинградцев умерли медленной, мучительной смертью от голода. И все-таки город не сдался, выстоял и победил. Во всей истории человечества нет ни одного примера такой небывалой стойкости. Это была победа духа над силой, революции над фашизмом, жизни над смертью.

В память этих трагических и величественных событий мы публикуем новый рассказ Николая Чуковского, одного из участников обороны Ленинграда.

I

Я еще чувствовал себя прекрасно, только в глазах иногда рябило. Появлялись огненные зубчатые колеса и красно-золотые геометрические фигуры, которые крутились, дрожали и застилали поле зрения. Потом колеса бледнели, фигуры потухали, и я опять все видел, как прежде. Был и другой симптом: выпадение сознания; вдруг очнусь где-нибудь на лестничной площадке и не могу вспомнить, как сюда попал, куда иду. Некоторые думают, что голод — это желание есть. На самом деле так бывает только вначале, а потом остается лишь ощущение тянущей тоскливой пустоты внутри. К пустоте внутри я уже привык, а про все эти колеса и короткие обмороки мои подчиненные не должны были знать.

В бомбоубежище я спустился тоже только ради своих подчиненных. Я не мог бы заставить их пойти, если бы не пошел сам. Они считали, что если бомба попадет, все равно где находиться — на доме, в доме или под домом; и я так считал. Но не ходить в бомбоубежище по тревоге — непорядок. А непорядка я допустить не мог.

В бомбоубежище было тепло и сыро. Электрического тока не давали уже вторые сутки, и подвал озарялся желтым светом керосиновой лампы без стекла. Копоть медленно оседала на лицах, желтый лепесток огня отражался во всех глазах. Когда где-то падала бомба, огонек вздрагивал и в лампе и в глазах. В жестяной радиотарелке тикал метроном, и это означало, что воздушная тревога продолжается. Я задремал бы под это тикание на скользких от сырости нарах, если бы не Ангелина Ивановна, которая без конца говорила одно и то же — как она похудела. Действительно, два месяца назад, когда я впервые увидел ее здесь, в подвале, она была полная белокурая женщина, а теперь казалось, что тело ее состоит из пустых мешков. Она повторяла, что все сваливается с нее, и заставляла женщин щупать себя. Она жаловалась, что скоро умрет, и светлые кудряшки тряслись над ее лбом.

Потом она рассказывала, как умер наш дворник. Об этом все уже знали, а я даже видел его, мертвого, сидевшего на деревянной лавке в конторе домоуправления. Ноги его в больших, совсем новых валенках протянуты были к чугунной печурке. Прошлой ночью он зашел туда погреться, заснул и не проснулся.

В бомбоубежище было человек пятьдесят, и все, кроме Ангелины Ивановны, молчали. Всем им нестерпимо было слушать ее плачущую скороговорку, и всем им так же, как мне, некуда было деться от ее причитаний. Я ждал, когда она устанет и замолчит — хотя бы на минуту. И когда эта минута настала и Ангелина Ивановна замолкла, девичий звонкий голос сказал:

— Бомбят не здесь, а за Невой. Что тут сидеть, пойдемте на крышу!

Я поднял глаза и увидел стоявшую возле закрытой железной двери девушку в белом шерстяном платке. Собственно, я увидел только белевший в темноте платок, но мне и этого было достаточно. Я сразу вскочил.

II

Так как сознание мое по временам потухало, я жил в отрывочном, не совсем связном мире. В этом мире уже несколько дней существовала девушка в очень белом пушистом платке. Я встречал ее только в полутьме и всегда внезапно: она вдруг обгоняла меня где-нибудь во дворе или на лестнице. Я видел лишь платок, покрывавший голову и плечи, и платок этот двигался сквозь мглу легко, летуче. Мне всякий раз хотелось догнать ее и заглянуть ей в лицо, но я не успевал об этом подумать, как платок исчезал за углом или просто растворялся во тьме. Заметив ее теперь в бомбоубежище, я вскочил и шагнул к ней. Но она уже выскользнула за дверь.

Я торопливо оглянулся. Наборщик Сумароков спал на нарах, раскинув ноги во флотских брюках; одна нога его была искривлена и не сгибалась в колене. Печатник Цветков спал тоже. И я вынырнул из бомбоубежища.

Едва железная дверь захлопнулась за мною, стал слышен дробный стук зениток. Четыре шестиэтажные стены с темными окнами окружали двор. Во дворе было темно, и только квадрат неба высоко вверху озарялся мигающими отсветами вспышек. Я озирался, вглядываясь в темноту, стараясь угадать, куда она побежала. Несколько лестничных дверей выходило во двор... И я успел увидеть, как белый платок мелькнул и скрылся за дверью.

Мы бежали по лестнице вверх; она на целый марш опередила меня. Сквозь стук зениток я слышал стук ее каблучков по ступенькам. Платок ее я видел только мгновениями, на поворотах. Вспышка озарила окно на лестничной площадке, и по огненному фону окна мелькнул ее темный узкий силуэт. Еще сегодня днем у меня начинала кружиться голова, едва я подымался на несколько ступенек. Но сейчас, догоняя ее, я перескакивал через ступени, и мне это ничего не стоило; я чувствовал себя легким, как бы бестелесным. Я бежал так быстро, что на третьем или четвертом этаже почти догнал ее.

— Я знаю, кто вы такой, — сказала она на бегу. — Вы редактор.

— Правильно, — ответил я. — Я редактор. А вы кто?

— Просто девочка.

По голосу, по детской легкости движений я уже и сам понял, что ей лет пятнадцать, не больше.

— А как вас зовут?

— Александра.

— Саша?

— Нет, Ася.

— Как славно!

— Что славно?

— Славно вас зовут — Ася!

Она промолчала, продолжая бежать вверх. Еще один лестничный марш. Не обернувшись, она спросила:

— У вас работает этот хромой мальчик во флотских брюках?

— Да, — сказал я. — Его фамилия — Сумароков. Он очень плох.

— Плох?

— Да. Он скоро умрет.

— Он не умрет, — сказала она. — Я с ним поговорю.

Я рассмеялся.

— Отсоветуете?

— Отсоветую, — сказала она без смеха. — Можно зайти к вам в типографию?

— Конечно.

— А Ангелина Ивановна к вам ходит?

— Ходит.

— Напрасно вы ее пускаете. Она мне всех убивает...

Тут огненные зубчатые колеса завертелись у меня перед глазами, и шум крови в ушах стал громок, как шум водопада.

III

Когда я очнулся, я стоял в темноте на площадке, прислонясь плечом к стене.

— Сейчас пройдет, — услышал я рядом ёе голос.

Огненные колеса, золотые зубцы и стрелы бледнели, и я уже почти не видел их. Шум в ушах отхлынул, умолк.

— Это пустяки, — сказал я.

Она подошла ближе и взяла меня за руку. Смутно белел платок; я слышал ее дыхание. Рука у нее была маленькая, теплая.

— Нет ли у вас фонарика? — спросила она.

У меня был фонарик, но я редко пользовался им, потому что берег батарею.

— Дайте.

Я сунул фонарик ей в руку. Вместо того, чтобы озарить стены, она озарила меня. Я стоял, жмурясь от яркого света, а она внимательно меня разглядывала с головы до ног.

— Ваш ватник не застегнут, — сказала она наконец.

Действительно, мой ватник был не застегнут, потому что на нем не было ни одной пуговицы. Три месяца назад, в конце августа, когда я пришел пешком в Ленинград из захваченного немцами городка, где я прежде редактировал районную газету, погода стояла еще теплая, и я явился в чем был, без пальто. В Ленинграде мне выдали ватник, но на нем не было пуговиц.

Она потушила фонарик и опустила его мне в карман.

— У меня есть английские булавки, — сказала она.

— Не надо.

— Нет, надо. Только стойте смирно, — прибавила она, не раскрывая рта, и я понял, что одна булавка у нее уже в губах.

Руки ее потянулись к моей шее, к вороту.

В это мгновение раздался протяжный рокот обрушившихся бомб, дом качнулся.

Я боялся, что она уколет мне шею, но пальцы ее не дрогнули.

— Это за Невой, — сказала она громко, чтобы перекричать треск зениток, и застегнула булавку.

Второй булавкой она скрепила мой ватник на животе.

— Ну вот, мы пришли, — проговорила она и открыла низенькую дверь.

Я шагнул вслед за ней и увидел небо.

IV

Нет ничего торжественнее осеннего звездного неба, спокойного, холодного, неподвижного. Но не такое небо увидел я. Торжественность и стройность его была разрушена. Оно дрожало, металось и дергалось, все в грязных подпалинах зарев.

Среди этих мечущихся огней крыша плыла и качалась, как корабль. Шагая по ее гремящему скату, я жадно озирался, стараясь как можно больше разглядеть при свете мгновенных вспышек. Эти вспышки взрывов вели между собой разговор, окликая друг друга через все громадное небо. Вспышка – и зарева пожаров гасли, гасли звезды, и на долю секунды выступали из тьмы крыши, шпили, мосты, провалы площадей осажденного города. Вспышка гасла – и все опять пропадало во тьме, и оставалось только черное небо в тускло светящихся пятнах.

Пожары окружали город кольцом со всех сторон, но ярче всего пылали на юге и юге-западе – там, казалось, текла золотая река. Это горело Лигово, горела Стрельна. Это была та петля, которая душила нас. Днем она была невидима, хотя мы чувствовали ее каждую минуту, Но ночью она становилась зримой. Я впервые с такой наглядностью видел весь этот медленно стягивавшийся смертельный круг и смотрел, смотрел, задыхаясь от ненависти.

Ася стояла за моей спиной, выше на скате. Я вспомнил о ней и обернулся. Прямая, туго затянутая платком, она смотрела вперед, через мою голову. И все мечущиеся огни этого нестройного неба отражались в ее глазах.

– Как им хочется нашей смерти, – сказала она. – А мы должны им назло жить, жить, жить!..

V

Когда я утром вошел в типографию, Сумароков не встал с табуретки.

Я вовсе не требовал от своих типографских, чтобы они вставали, когда я входил, но до сих пор они вставали.

Сумароков сидел на табуретке, протянув ноги во флотских брюках к железной печурке, в которой пылали бумажные обрезки. Одна нога у него была искривлена; из-за ноги его не взяли на военную службу. Еще не так давно он горевал об этом: ему было девятнадцать лет, он вырос в городе моряков и мечтал служить во флоте. Но теперь он забыл о флоте, сделался молчалив и малоподвижен, и его исхудалое, грязное лицо – он давно уже не умывался – не выражало ничего, кроме постоянного страдания.

– Здравствуйте, – сказал мне Цветков, стоявший, прислонясь к машине.

Цветков был печатник средних лет, не попавший в армию потому, что страдал астмой. На прошлой неделе у него умерла жена.

– Ну как? – спросил я.

– Току нет, – ответил Цветков.

Наша типография состояла из четырех наборных касс и плоской печатной машины, которая приводилась в движение электричеством. Тока не было и третьего дня, и вчера, и весь вчерашний день мы его ждали напрасно. Теперь я понял, что его уже и не будет.

– Что станем делать? – спросил я.

Сумароков ничего не ответил, а Цветков сказал:

– Не знаю.

– Перемени дату в наборе, – приказал я Сумарокову.

Набор номера был готов у нас еще третьего дня вечером и вложен в машину. Я

нарочно отдал приказание Сумарокову, чтобы посмотреть, встанет ли он с табуретки. Я боялся, что он не встанет. Но он встал и, хромая, побрел к машине. Его качнуло на ходу. Кажется, ему доставило удовольствие, что я это видел.

Он склонился над набором.

— Здесь был кто-нибудь? — спросил я у Цветкова.

— Соседка, — сказал он.

— Какая?

— Ангелина.

— Интересно, кто раньше помрет — она или я? — сказал Сумароков.

И я понял, о чем они говорили с Ангелиной Ивановной.

Сумароков вяло и долго возился в наборе, хотя нужно было переменить только одну литеру — вчерашнее число на сегодняшнее.

— Ты скоро?

— Сейчас.

У меня не хватило терпения.

— Отойди, — сказал я ему. — Я сам.

Он охотно отошел и снова сел на табуретку. Я переменил литеру и выпрямился. Они оба смотрели, что я буду делать дальше. Тока не было.

Мне показалось, что они безучастны к моему горю, что им все равно, выйдет номер или нет, и я рассердился. А ведь еще так недавно они нравились мне именно тем, что относились к делу с азартом, и мы работали дружно. Я подошел к колесу и стал снимать с него приводной ремень. На лице Сумарокова не отразилось ничего, но по лицу Цветкова я увидел: он понял, что я затеял. Я решил крутить колесо вручную.

— Начнем, — сказал я Цветкову.

Он подошел к машине, снял лист бумаги и положил на вал.

— Сумароков, — сказал я.

Сумароков медленно поднялся с табуретки.

— Покрути колесо немного.

Он посмотрел на меня с удивлением, однако не отказался. Постоял, потом все с тем же удивлением на лице подошел к колесу, взялся обеими руками за ручку и налег на нее.

Он налег на нее всем телом, но колесо не двинулось. Я решил, что он притворяется.

— Давай, давай! — кричал я на него.

И вдруг по покрасневшей его шее я понял, что он напрягает все силы. Мне стало жаль его. По правде сказать, мне давно уже было жаль его, и я сердился на него только от сознания собственной беспомощности.

— Садись, — сказал я ему и сам подошел к колесу.

Мне случалось крутить колесо плоской машины, и я помнил, что идет оно, в сущности, очень легко. Я надавил на ручку и удивился, что она не двинулась. Тогда я налег на нее всем телом. Ручка медленно поползла, и мимо моего лица стала проходить спица за спицей.

Колесо сделало полный оборот и остановилось. Один отпечатанный лист вяло выполз из машины. Пот выступил у меня на лбу, я жадно глотал воздух. Собрав все силы, я опять надавил на ручку, и она опять поддалась. Когда колесо сделало второй оборот, у меня в глазах замелькали огненные стрелы. Я выпрямился, чтобы перевести дух; стрелы погасли; я встретился глазами с Цветковым.

В его глазах была жалость. Я не люблю, когда меня жалеют, и опять налег на ручку.

Колесо сделало еще один оборот.

Я продолжал давить, ничего не видя, кроме огненных стрел и зубцов. Колесо сделало еще оборот. Я налегал на ручку, и колесо поворачивалось — еще один оборот, еще один... Я работал всем телом, и мне мешал только недостаток воздуха да внезапно возникший шум в ушах, который с каждым мгновением становился все громче. Я ничего не видел, кроме стрел, ничего не слышал, кроме шума. Я чувствовал, что рядом со мной стоит Цветков и кричит мне что-то, но слов его разобрать не мог. И только когда он оторвал меня от колеса и сам взялся за ручку, я понял, что он решил меня сменить.

Я прислонился к стене и глотал воздух. Комната кружилась, я боялся, что сознание уйдет от меня, как уже не раз бывало. Хуже этого ничего не могло случиться, тогда всем стало бы ясно, что колесо крутить нельзя. Я пересилил себя, встал на место Цветкова, взял лист и положил его на вал.

Колесо у Цветкова пошло сразу. Лист скользнул по валу и вылез отпечатанный. Еще один лист, еще...

Поднятое кверху небритое лицо Цветкова показалось мне слишком белым. Выпученные глаза были устремлены на меня. Он медленно вертел колесо, спицы двигались, и с каждым оборотом лицо его становилось белее. Еще оборот, еще оборот, еще...

Он выпустил ручку и стал валиться на бок. Держа чистый лист в руках, я смотрел, как Цветков падает.

Он сполз с ручки и лег ничком на пол, уткнувшись лицом в половицу. Так он лежал, и спина его от дыхания подымалась и опускалась.

Я пересчитал отпечатанные листы. Их было двадцать два. Двадцать два раза повернули мы с Цветковым колесо. Нам нужно отпечатать не меньше пятисот экземпляров. Каждый лист с двух сторон. Два оборота колеса на каждый экземпляр. Тысяча оборотов!

Тысяча!

Койка Цветкова стояла в углу. Я подошел к ней и лег на нее.

VI

С начала осады Цветков и Сумароков были переведены на «казарменное положение»: это означало, что они не только работали в типографии, но и жили в ней. Цветков спал рядом с машиной, а Сумароков перенес свою койку в соседнюю комнатушку, крохотную, как чулан. Еще недавно в этой комнатке было чисто и опрятно. Но с октября, когда голод усилился, стала она зарастать пылью, сажей, мусором.

— А это ваша карточка? — услышал я из-за двери тоненький голосок.

— Моя, — ответил голос Сумарокова.

— Когда вы снимались?

— В июле.

— Вот какой вы были!

— Был ничего, — сказал Сумароков не без самодовольства. — Что, похудел? Тут похудеешь...

— Похудели вы не особенно. Вот только лицо стало чернее...

— Это от печки, — хмуро объяснил Сумароков.

Лежа на койке Цветкова, я старался догадаться, с кем это Сумароков там разговаривает. Да ведь это та девочка Ася, с которой я был на крыше!

— Это что за корабли? — спросила она.

И я понял, что они рассматривают тетрадь Сумарокова — заветнейшую его драгоценность. Когда мы начали выпускать здесь нашу многотиражку, Сумароков каждый вечер в свободное время вытаскивал свею прекрасно переплетенную тетрадь и подолгу с наслаждением возился над нею. В тетрадь были вклеены фотографии — прежде всего сам Сумароков в различных видах, затем военные корабли. О каждом корабле у Сумарокова было множество сведений, бог весть откуда собранных и малодостоверных. Вклеивал он в тетрадь и особенно поразившие его кадры разных фильмов и вписывал всякие стихи, вписывал удивительным почерком, каждая буква в завитушках, причем суть была именно в завитушках, а не в стихах.

Больше месяца не видел я в руках Сумарокова этой тетради. Он, казалось, совсем забыл о ней. И я удивился, услышав, как он листает ее и показывает. Они рассматривали фотографии кораблей, и он рассказывал о каждом корабле. Она спрашивала его, и он отвечал обстоятельно, польщенный и обрадованный ее вниманием.

Потом она вошла в типографию. И я впервые увидел ее — не в темноте, не в призрачном мелькании ночных огней. Неужели это та самая, за таинственным белым платком которой я вчера бежал вверх по лестнице, бежал из мрака в свет и из света в мрак среди ослепительных мгновенных вспышек? Теперь ровно ничего таинственного в ней не было, да и платок не такой уж белый. Крупная для своих лет, прямая. Но на почти детском ее лице уже лежала та печать постарения, которую голод накладывал на все женские лица.

Мне стало неловко, что я валяюсь на койке в середине рабочего дня; однако я решил не вставать. Зачем притворяться, раз газета все равно не выходит!

Она кивнула мне, подошла к нашей неподвижной машине и с любопытством ее оглядела. Увидела только что отпечатанные листы и взяла один в руки.

— «Боевой буксир», — прочла она громко.

Так называлась наша газета.

— Это что же, газета водников? — спросила она.

— Да, — сказал я.

— «Срочный ремонт судов — залог победы», — прочла она заголовок передовой, которую написал я. — Они сейчас ремонтируют свои суда?

— Да, — сказал я. — Должны ремонтировать.

— А они ремонтируют?

— Как это ни удивительно, ремонтируют.

— Почему удивительно?

— Потому что отремонтировать судно еще труднее, чем выпустить газету.

— Току нет, — проговорил Цветков. — А вертеть вручную — сил нет.

В типографию вошел Сумароков. Больше месяца не видел я его таким. Лицо только что умыто, волосы расчесаны и блестят, ботинки начищены, ватник расстегнут, и под ним — матросская тельняшка. Он даже почти не хромал, казалось, он только так, случайно, оступается.

— Никогда не видела, как печатают газеты, — сказала Ася. — Интересно поглядеть.

И взялась за ручку колеса.

Колесо поддалось с трудом, и тонкая кожа у нее на лице покраснела от усилия. Спицы поползли медленно-медленно.

— Тяжело, — сказал Сумароков. — Давайте я вам помогу.

Он стал рядом с нею и тоже взялся за ручку. Они вдвоем вертели колесо, улыбаясь от удовольствия и натуги.

— А где же бумага? — спросила она. — Как это печатают?

Цветков встал на свое место, лист прокатился по валу и, отпечатанный, выпал. Она засмеялась. Еще один лист, еще один...

— Вы устали, — сказал Сумароков с таким видом, словно уж он никак устать не может. — Давайте я один.

Она покачала головой.

— Вдвоем совсем нетрудно, — сказала она. — Чем быстрее вертится колесо, тем легче оно идет. Раскрутим его вовсю.

Спицы бежали все быстрей и быстрей, и все быстрей и быстрей становились движения Цветкова, вставлявшего чистые листы. И действительно, чем быстрее вертелось колесо, тем меньше нужно было усилий, чтобы вертеть его.

Это было открытие необычайной важности.

— Я сам, — решительно сказал Сумароков, и отпихнул ее от ручки.

Она отступила шага на два, а он, чувствуя, что она глядит на него, с сосредоточенным и важным лицом подталкивал ручку. Теперь он почти даже не нагибался, ручка подлетала к нему, и он ее слегка толкал.

Тогда я встал с койки.

— Который лист? — спросил я Цветкова.

— Сто девятнадцатый, — сказал Цветков. — Сто двадцатый. Сто двадцать первый.

— Отойди! — крикнул я Сумарокову и поспешно встал на его место, чтобы не дать колесу замедлить ход.

Я небрежно швырял ручку легкими резкими движениями ладоней. Машина тяжко грохотала. Листы вылетали.

— Если бы настоящее питание, мы бы еще не так завертели, — проговорил Сумароков у меня за спиной. — А то, того и гляди, помрем.

— Пока будет выходить газета, не помрете, — сказала Ася.

VII

Но газета скоро перестала выходить. И умер Сумароков. И умерло еще много-много людей. И в нашем шестиэтажном промерзлом доме во всех квартирах лежали мертвые, которых некому было похоронить.

Цветкова от меня затребовали в какую-то военную типографию, он ушел со своим чемоданчиком в метельный день, и я больше никогда его не видел. Я остался в типографии один; нельзя же бросить машину, шрифты, бумагу. У меня, разумеется, было начальство, и от начальства я ждал указаний, что делать дальше. Но связаться с начальством по телефону я не мог: телефоны в городе не работали. Да и зачем? Ведь начальству известно и положение типографии и мое. Нужно только немного подождать...

Я теперь жил в комнатенке Сумарокова, лежал на его койке. Там были целы стекла в окне, там тоже стояла жестяная печурка, которую можно было топить старыми экземплярами нашей газеты и досками шкафов. Но установились сильные морозы, и

печурка моя мало помогала. Дни и ночи лежал я на койке, в ватнике, в валенках, укрытый двумя одеялами – своим и Сумарокова. Окно закрывал большой лист плотной синей бумаги – для затемнения; по утрам его нужно было снимать, по вечерам укреплять на окне снова. В первые дни я его и снимал и укреплял; но потом мне стало скучно и трудно возиться с ним, я перестал его снимать по утрам, и днем у меня было так же темно, как ночью.

Выходил я только в булочную, за хлебом – раз в два дня. На улице блеск снега ослеплял меня, морозный ветер не давал дышать. Почти не видящий, почти не дышащий, я шел по узкой извилистой тропке между огромными сугробами, дымившимися на ветру. В булочной мне давали промерзлый кубик хлеба – мою порцию на два дня. Многие, получив хлеб, съедали его тут же, в булочной. Но я так не поступал. Я прятал хлеб под ватник, поближе к телу, и шел домой. На обратном пути у меня кружилась голова, все заволакивало туманом; и чувство это не было неприятным. Напротив, в искушении лечь в снег и больше не двигаться было что-то сладкое, заманчивое. Каждый раз по пути я видел мертвых, уже почти занесенных снегом, и участь их не казалась мне страшной. «Нет, все-таки я раньше съем свой хлеб», – говорил я себе и продолжал идти. Возвратясь, я ложился на койку, закрывался с головой двумя одеялами и там, в темноте, отщипывал от хлеба маленькие кусочки и клал в рот. Каждый кусочек я долго держал во рту, прежде чем проглотить. Потом засыпал.

Впрочем, я не знаю, спал ли я; в той тишине, которая меня окружала, трудно было понять, спал я или не спал. Весь город был погружен в мертвую тишину, как на дно моря. Не было ни трамваев, ни автомобилей, ни голосов на улицах; с наступлением зимы воздушные налеты прекратились и замолчали наши зенитки. Немцы, окружив город со всех сторон, не хотели, казалось, тратить на него больше никаких усилий и просто ждали, когда он вымрет и вымерзнет. Ни один звук не долетал до моей комнаты, и в мертвой этой тишине мне постоянно чудилось, что я куда-то проваливаюсь вместе со своей койкой – все глубже, и глубже, и глубже. Весь мир с его светом, людьми, теплом остался где-то бесконечно далеко, наверху, а я все погружаюсь, все опускаюсь, и нет конца этому опусканию, потому что подо мною нет дна.

Иногда сознание прояснялось, и я понимал, что умираю. Тогда я думал, что нужно встать, поискать щепок, разжечь печурку, принести воды. Но мысль о необходимости двигаться казалась такой ужасной, что я думал о смерти без всякого страха, и уже даже ждал ее, и погружался все глубже и глубже.

VIII

И вдруг в этой бездонной, безвыходной глубине я услышал сверху громкий звонкий голос:

– Вы живой, живой! Очнитесь!

Я перестал опускаться. Меня понесло вверх, вверх, вверх, я почувствовал, что одеяло сдернуто с моего лица и что свет кругом. Синий лист был снят с окна, и за расписанным морозными цветами стеклом сверкал день. Ася стояла надо мной и ликующим голосом восклицала:

– Вы живой! Ангелина Ивановна говорила, что в типографии никого нет, что вы лежите мертвый, а я пришла, потрогала – вы живой! Сейчас, сейчас!.. Я сейчас все устрою...

Я смотрел на нее и чувствовал, что улыбаюсь. Ну, конечно, я живой! Она так торжествовала, так радовалась, найдя меня живым, что оказаться мертвым было бы просто стыдно. Я смотрел на нее, улыбался и тоже радовался, что она живая. Она изменилась: те страшные знаки голодного постарения еще резче легли на ее детское лицо. Но она двигалась, говорила, радовалась. Мы оба были живы!

– Сейчас, сейчас!.. – повторяла она и уже разжигала мою печурку.

Я думал, что в типографии больше нечего жечь, кроме наборных касс, но она, обшарив углы, нашла чулан, куда Сумароков и Цветков когда-то натаскали разных досок, щепок, кусков угля. Печурка затрещала вовсю, и через несколько минут на черной коленчатой трубе выступили красные пятна.

– Надо принести воды, – сказала она, схватила большой медный чайник и

выскользнула из комнаты.

Едва она вышла, мне стало страшно, что она не вернется. На ногах у нее были валенки, и ходила она бесшумно; звук шагов ее исчез, чуть за ней закрылась дверь. «Вернись, девочка-жизнь», – думал я, поджидая ее. «Девочка-жизнь, вернись!» Я знал, что в доме есть всего один кран, из которого еще капала вода, – в подвале, в бомбоубежище. Я представил себе, как она бежит с моим чайником вниз по ступенькам, перебегает через двор, спускается в подвал и там стоит в темноте перед краном. Конечно, надо много времени, чтобы: по капле набрать воды в такой большой чайник... И все же почему она не идет? Не случилось ли с ней чего-нибудь? «Вернись, девочка-жизнь!»

И когда я уже почти перестал ждать, девочка-жизнь вернулась.

IX

Увидев, как тяжел этот чайник с водой, как он оттягивает ей руку, я смутился; мне стало стыдно валяться. Она ведь получает ровно столько хлеба, сколько я, и ей ничуть не легче, чем мне. Я скинул с себя оба одеяла, опустил ноги на пол и встал.

– Ну вот, я говорила! Вы можете стоять!

– Конечно, я могу стоять, – сказал я бодро и, чтобы показать ей, как я еще крепок, стал раскалывать ножом доску и швырять щепки в печурку.

Она сняла варежки и грела руки над печкой, над чайником. У нее были очень маленькие руки, но пальцы распухли, не разгибались, потрескались, гноились возле ногтей. Я знал, что это значит, – у меня тоже трескались и гноились пальцы. На подоконнике она заметила тетрадь с фотографиями – ту, которую ей когда-то показывал Сумароков. Это было бесконечно давно, в другом мире. Сумароков тогда был жив, и мы еще могли вертеть колесо машины... Она раскрыла тетрадь, перелистала.

– Можно мне взять ее себе?

– Конечно.

В комнате становилось все теплее, я расстегнул английские булавки и распахнул свой ватник. Чайник запел песенку, пар потянул из носика, зазвенела, прыгая, крышка. Ася налила кипяток в две кружки, мы сели на койку, подобрав под себя ноги, и стали пить. Было блаженно жарко, пот выступил на лицах, мы, обжигаясь, отхлебывали кипяток маленькими глотками и поглядывали друг на друга все радостней и дружелюбней. Удивительная близость возникла между нами – близость живого к живому. Она даже с каким-то детским лукавством поглядывала на меня из-за своей горячей кружки: мы молодцы, мы хитрецы, мы оба живы!

Она рассказала мне, что хотела пойти в армию и стать снайпером, потому что у нее замечательное зрение. Сидела бы где-нибудь высоко на сосне, немец шевельнется в кустах, она дзвинь – и нет его.

Осенью один знакомый сержант уверял, что ее непременно взяли бы в снайперы.

– Что ж вы не пошли?

– Мама.

Я понял, что живет она с мамой, которую нельзя оставить.

– Мама лежит?

– Третий месяц. Пухнет. Уже вот какая стала.

Я знал, что от голода не только худеют, но и пухнут, и больше не стал спрашивать.

– А вы почему не в армии?

— Забракован, — ответил я. — Мне должны были делать операцию, но война помешала.

— Что ж у вас было?

— Язва двенадцатиперстной кишки.

— Это самая важная кишка в человеке, я знаю.

— Может быть, и не самая важная. Но самая длинная.

— Вот почему вы были такой тощий и желтый, когда я вас в первый раз увидела.

— А когда вы меня увидели в первый раз?

— В сентябре, когда типографию привезли в наш дом. Я вас часто встречала на лестнице. А вы меня не заметили?

— Нет, тогда не заметил.

— Мне очень интересно было, как печатают газету. Я хотела хоть в щелку заглянуть. Я всех типографских в лицо знала — и того хромого мальчика и вас. Вы были худой и желтый, а тогда все еще были толстые. У вас и теперь язва?

— Теперь это все равно.

Я рассказал ей, как я огорчился, когда меня вместо армии направили редактировать газету. И вот газета перестала выходить.

— Чего ж вы ждете?

— Жду приказания, — ответил я.

— И давно?

Я старался вспомнить, когда ушел Цветков. Сколько дней провел я один на этой койке? Сначала мне казалось, что дней шесть, но потом, когда я стал считать, получилось больше...

— Приказания не будет, — сказала она.

Я сам уже так думал в последние дни, но ее убежденность удивила меня.

— Почему?

— Ваши начальники лежат. Они столько же хлеба получают...

Она была права. Все равны перед голодом.

— Если бы можно было позвонить... — сказал я. — Но позвонить нельзя...

— А вы пойдите.

Тут я рассмеялся.

— Вы знаете, куда мне надо идти? В порт!

— Далеко!

— Я упаду и замерзну.

— Очень может быть, — сказала она спокойно и серьезно. — Это уж от вас зависит.

— Это не зависит от меня, — возразил я. — Я просто знаю, что у меня не хватит силы.

Она внимательно посмотрела на меня из-за кружки и промолчала. Я тоже замолчал. Мне было слишком хорошо от обжигающего губы кипятка, от тепла в комнате, от ее соседства, чтобы спорить, волноваться. Она налила мне еще кружку и вдруг

спросила:

— А вы давно не мылись?

Я смущенно старался припомнить, когда я мылся в последний раз. Очень давно. В городе с осени не работала ни одна баня, а раздеваться в холодной типографии было так трудно и неприятно. Я уже много недель не снимал с себя ватника...

— Почти полный чайник горячей воды, — сказала она. — Вот я пойду, а вы мойтесь. Мойтесь, пока комната не остыла...

Она встала, прижав к себе тетрадь Сумарокова.

— А вам уже нужно уйти?

— Там мама, — ответила она мягко, понимая, что мне без нее будет жутко и тоскливо; она вполне сознавала свое душевное превосходство надо мной и обращалась со мной, как с ребенком, хотя я был старше ее вдвое. — Вымоетесь, уснете, а завтра утром пойдете в порт.

Заметив неуверенность в моих глазах, она прибавила:

— Вы дойдете. В человеке гораздо больше силы, чем он думает.

— Откуда вы это знаете? По себе?

— И по себе и по другим. Надо дойти, и вы дойдете.

X
Я дошел.

Едва я вышел за ворота и морозный ветер ударил в меня снежной крупой, мне стало ясно, что дойти нет никакой надежды. Ноги меня не держали; меня качало, как прут на ветру. Лечь в снег и закрыть глаза — вот все, чего мне хотелось. Дойду до угла и лягу. Но, дойдя до угла, я не лег, а побрел дальше, к следующему углу. В конце концов все равно, у какого угла лечь. Так я вышел на мост, перешел через Неву, свернул в длинную улицу и пошел все прямо, прямо, мимо разбитых бомбами домов, мимо домов сгоревших, мимо домов вымороженных. Узкая тропка вела меня между сугробами, где лежали запорошенные снегом трупы тех, кто шел здесь до меня. Я знал, что сам скоро буду лежать вот так, засыпанный, выставив темно-коричневый заледенелый кулак из снежной кучи, и это вовсе меня не пугало. Но если я могу пройти еще пять шагов, я их раньше пройду. К сумеркам я прошел всю длинную улицу до конца и дошел. Во мне оказалось больше силы, чем я думал.

Когда я явился, меня не узнали, а когда узнали, удивились: здесь все считали, что я умер. Меня поселили на вмерзшей в лед барже вместе с рабочими, ремонтировавшими суда. Там было тепло; там был даже тусклый электрический свет от собственного маленького движка. Еще месяц назад в деревянном брюхе баржи, между ее исполинских ребер жило более ста человек. Но за этот месяц многие умерли, и найти для меня свободную койку было нетрудно.

Тут же, в соседнем отсеке, находилась столовая. Над столами висело кумачовое полотнище с лозунгом «Цех питания — в центр внимания». Этот лозунг сочинили и вывесили еще осенью, когда верили, что если внимательно следить за расходованием продуктов, их хватит для жизни. Инженеры принесли из лаборатории весы необычайной точности и поставили на стойку. Каждый мог проверить на этих весах, что ему выдали 3 грамма сахарного песку, а не 2,99. Не знаю, был в этом толк или не был, но обитатели баржи умирали так же, как обитатели домов. При мне на работу выходило человек сорок; остальные лежали на койках и не могли встать.

Через день я тоже вышел на работу. Ноги не держали меня, но я уже знал, что во мне больше силы, чем я думаю; раз я мог дойти до порта, — значит, я могу работать. Когда-то в ранней молодости я работал подручным слесаря в железнодорожных мастерских; в то время я еще только мечтал стать журналистом. Слесарь я был плохой, но здесь от меня большой квалификации и не потребовалось. Мы ремонтировали старый транспортник, развороченный осенью авиационной бомбой. Вмерзший в лед борт его возвышался громадной стеной рядом с нашей баржей, и, пожалуй, самым трудным было подняться по трапу на эту стену. Бригада, в которую

я попал, пробивала в железных листах отверстия для заклепок, сваривала трубы автогеном. Мы, как тени, двигались внутри осевшего на левый бок корабля; вся наша работа была похожа на замедленную съемку. Если нам нужно было поднять или передвинуть что-нибудь, мы наваливались вдесятером и потом долго сидели в полуобмороке.

Всякий раз, когда мы присаживались, нам было ясно, что мы никогда больше не встанем. Но я уже этому не верил. Я говорил себе, что, пока мы будем ремонтировать, мы будем жить. Я говорил, что это фашисты хотят, чтобы мы умерли, и потому нам нельзя умирать. Я знал, что повторяю чужие слова, и помнил, от кого эти слова услышал. И мы вставали.

Переселившись на баржу, я спустя некоторое время, кажется, действительно стал немного крепче. Не знаю, чему это приписать; во вторую половину зимы хлеба прибавили, но прибавка эта была так ничтожна, что люди вокруг умирали по-прежнему. Может быть, тому, что в столовой дважды в день выдавали суп — теплую воду с еле приметной мутью. Или тому, что наш врач, веривший в витамины, готовил для нас настой из еловых игл. Не знаю; вернее всего, тому, что я жил с людьми и попал в упряжку; в упряжке всегда легче. Я стал лучше ходить, меньше лежать и не так выбивался из сил, когда подымался по трапу. Удивительнее всего, что у меня в глазах опять стали по временам вертеться огненные колеса с зубцами, которые почему-то совсем оставили меня как раз тогда, когда мне было особенно плохо. И еще одно полузабытое свойство вернулось ко мне: я стал очень хотеть есть.

Я теперь так же мучительно и нетерпеливо хотел есть, как в те первые дни, когда я еще только начинал голодать. Съев суп, я теперь был готов лизать языком дно тарелки. Я съедал свой хлеб не маленькими кусочками под одеялом, как раньше, а сразу, в два откуса. Бумага, штукатурка, кирпич стали казаться мне съедобными. Это заново проснувшееся острое желание есть привело меня к участию в одном преступлении.

Рабочие нашли на корабле десяток больших жестяных банок с каким-то жидким маслом. Впрочем, об этом масле знали и раньше: особое техническое масло, предназначенное для того, чтобы в нем растворяли какую-то особую краску. Всем было ясно, что оно несъедобно, и его не трогали. Но тут вдруг открыли, что масло это цветом и прозрачностью напоминает подсолнечное. Внезапное возбуждение овладело нами, даже самыми благоразумными из нас; голоса стали громче, движения торопливее, глаза блестели, руки и губы дрожали. Мы глотали масло, соперничая друг с другом в жадности и бесстрашии. Сознание того, что это может кончиться ужасно, у нас было, но мы гнали его от себя, заражая друг друга беспечностью. Мы опьянели от сытой еды; мы шумели, кричали. Наевшись, мы отнесли оставшиеся банки на баржу и накормили наших лежачих товарищей.

В первую же ночь у нас умерло девять человек. Умирали в муках, крича и корчась от боли, Мы смотрели на них, подавленные страхом, — каждый ждал, что и с ним вот-вот начнется то же самое. Говорили, что масло склеило им кишки. В ближайшие двое суток умерло еще шестеро, и все это время я терзался страхом, раскаянием, потому что участвовал в пире наравне со всеми и съел не меньше других. Но мой больной кишечник, когда-то не выдерживавший малейшего отклонения от диеты, не склеился. Почему так случилось, не знаю. Это масло не принесло мне ничего дурного, кроме душевного потрясения. Нас теперь на работу выходило человек двадцать пять, и я был в их числе.

XI

Я жил на барже, работал, но об Асе не забывал.

Стоило мне опустить веки, и она вставала у меня перед глазами. Она застегнула на мне ватник... Она принесла мне воды... Она заставила меня встать, когда я думал, что уже не встану, заставила меня жить, когда я готов был умереть... В первые недели мне казалось немыслимым пройти весь долгий путь обратно и навестить ее. Но время шло, и меня стало тревожить чувство вины. Я жил в тепле, при электрическом свете, а она осталась в том промерзлом, темном доме... Жива ли она еще? А если жива, так может ли еще ходить? Кто приносит ей хлеб из булочной, воду из подвала, кто топит ей печку? Я обязан навестить ее. Меня останавливало только одно: я не хотел прийти с пустыми руками. Какой будет толк в моем приходе, если я не накормлю ее...

Сначала я хотел откладывать хлеб – по кусочку от моего ежедневного ломтя, – засушить эти кусочки и принести ей. Но скоро оставил эту затею. Нужна целая неделя, чтобы из кусочков накопить граммов триста. А за неделю она умрет, если сейчас еще жива. Да и я, если целую неделю буду сидеть на уменьшенном пайке, так ослабею, что не дойду.

Но тут мне повезло: нам выдали по пакетику концентрата, который назывался «Гречневая каша». Из такого пакетика могла выйти целая тарелка каши. Я решил идти, не откладывая. Отпроситься мне было нетрудно: оборудование типографии все еще лежало на моей ответственности, и я должен был приглядеть за ним. Съев свою обеденную тарелку супа и положив концентрат в карман ватника, я отправился в путь.

Та бесконечная зима все еще тянулась. Но дни уже стали заметно длиннее. Однако уже чуть-чуть смеркалось, когда я наконец перешел через мост, свернул сначала за один угол, потом за другой и снова увидел тот дом, те ворота.

Ни одного свежего следа на запорошенной ночной поземкой тропинке к воротам. Из многих окон торчали черные трубы печурок, но ни над одной из них ни дымка. Под аркой ворот меня знакомо прохватил сквозной ветер. Вот и двор. Никого. В узких провалах между сугробами, достигавшими окон первого этажа, ни одного следа. Неужели даже в подвал за водой никто не ходил сегодня? Я открыл своим ключом дверь типографии и вошел. Внутри все было цело, ничего не изменилось; только сквозь дырку в стекле налетело много снежной пыли, которая мягко скопилась по углам. Кристаллики снега поблескивали на металлических частях машины. Я заглянул в комнатку Сумарокова. Там тоже все по-прежнему: неприбранная моя постель лежала так, как я ее оставил.

Мне здесь больше нечего было делать, я вышел и запер дверь. Теперь я мог бы пойти к Асе, если бы знал, где она живет. Я никогда у нее не был; у меня сложилось смутное представление, что живет она где-то наверху, потому что когда-то она часто пробегала мимо типографии вверх по лестнице. Но там, наверху, столько этажей и квартир!

В нерешительности я вышел во двор, надеясь встретить кого-нибудь и расспросить, если в доме остался хоть один живой человек. На этот раз мне повезло: маленькая сгорбленная старуха, обмотанная множеством платков, вынырнула из-за высокого сугроба и довольно бойко засеменила прямо ко мне.

– Здравствуйте, – сказала она. – Так вы, оказывается, живы. А я считала, что вы еще в декабре померли.

– Нет, я жив. Здравствуйте.

– Не узнаете? Что, похудела?

По этим словам я узнал ее. Ангелина Ивановна! Если бы она не заговорила, я не узнал бы ни за что. Осенью она была пышной молодой женщиной с круглыми щеками, с громким голосом. Когда она начала худеть, все ее выпуклости постепенно превращались в пустые мешки. Но теперь и пустых мешков не было. Она стала гораздо меньше ростом, и было ясно, что под всеми этими платками нет ничего, кроме костей и сморщенной кожи.

– Все умерли, все! – сказала она, когда я спросил ее, жива ли еще та девочка Ася, которая бегала в белом шерстяном платке. – Все умерли, во всех квартирах. – Она, кажется, торжествовала, что все умерли, потому что это подтверждало ее правоту. – Я еще жива, но мне уже недолго осталось... Ася? Ася все не верила, все бегала, всем воду носила, заставляла вставать, ходить, но тут не переспоришь. Сначала мама ее умерла, потом и сама...

Теперь мне оставалось только вернуться в порт, на баржу. Но я медлил. Я не совсем верил словам Ангелины Ивановны. Она когда-то сказала Асе, что я умер, а я был жив... Я не мог уйти, не убедившись.

– Ее квартира тридцать девятая, – сказала Ангелина Ивановна, оскорбленная моим недоверием. – На пятом этаже. Подымитесь, если вы еще можете подняться на пятый...

И я поднялся на пятый этаж.

XII
— Это вы?

— Я! Я!

— Правда, вы?

— Я!

— Странно!

— Как?

Она говорила почти беззвучно, и мне показалось, что я не расслышал ее.

— Странно!

Я нашел ее в самом конце огромной многокомнатной коммунальной квартиры. Входя, я хотел постучать, но заметил, что дверь не заперта, и сам отворил ее. В ту зиму двери квартир часто не запирали: слишком трудно было идти отворять.

В передней ничуть не теплее, чем на лестнице. Окна в комнатах плотно занавешены. Тьма окружила меня. Я несколько раз подал голос, но никто не откликнулся. Я вытащил свой фонарик; батарейка в нем была почти израсходована, и круг света, который он бросал, был мутен и слаб. Я отворял двери одну за другой, и мутный этот круг скользил по стенам. Мебель сожжена; холодные черные трубы печурок перегораживали комнаты. Железные остовы кроватей; матрацы сожжены. Мертвые лежали на полу. Я спотыкался о них, затвердевших от мороза. Я освещал фонариком каждое лицо. Старухи, мальчики... Нет, не она. Где же она, где?.. Что-то бесшумно двинулось в углу. Я приподнял фонарик. Мое собственное отражение в зеркале...

Узенькая полоска дневного света возле самого пола. Свет проникал из-под двери, и я толкнул дверь.

Зимние сумерки вливались в комнату сквозь незавешенное окно. Часы-ходики висели на стене, раскачивая маятником, и мерный стук их казался в тишине неправдоподобно громким. Часы идут, значит, кто-то время от времени подтягивает их гири. Две кровати стояли вдоль стен: одна пустая, на другой груда тряпья. Слегка сдвинув край этой груды, я увидел лицо Аси.

Неподвижное, оно смутно белело в сумерках. Упав на колени, я приблизил ухо к ее губам. Она дышала. Она спала.

Я не хотел будить ее; я хотел сначала растопить печурку, сварить кашу. Я нашел дрова и воду — к моему удивлению, все у нее было припасено. Почему же тогда она не топит, почему такой мороз в комнате? Вода в ведре покрыта ледяной коркой в два пальца толщиной. Пока я растапливал печурку, грел воду, сильно стемнело. Я сидел на корточках перед раскрытой печной дверцей, когда вдруг почувствовал, что она смотрит на меня.

Я встал, она меня узнала, и все повторяла: «Как странно!», — и я долго не мог понять, что именно ей кажется странным.

— Как странно, правда? Как странно, что я опять проснулась. Как странно, что вы тут. Вы дошли до порта! Я знала, что вы дойдете, но не верила, что еще увижу вас... Как странно все... Как странно, что я умираю...

Она говорила очень тихо, но я слышал каждое слово.

— Вы не умрете, — сказал я.

— Я тоже всем так говорила. И все они умерли.

— Вы и мне так говорили. И я не умер.

— Я знала, что вы не умрете. Я ведь ошибалась только вначале. Когда я нашла вас одного в типографии, я уже не ошибалась. Столько людей умерло к тому времени, и я видела, как они умирали. Я все знаю о смерти и ничего не знаю о жизни. Странно, правда?

— Сейчас будет тепло, — сказал я, ковыряя кочергой в печурке. — Уже тепло. Вы разве не чувствуете?

— Нет, не чувствую, — ответила она. — Я больше не чувствую ни тепла, ни холода. Я рада, что вам тепло. А я ничего не чувствую, ни рук, ни ног, будто их нет. Меня нет, а голова светлая, не потухает. И я жду, когда она потухнет.

Я молчал, следя за паром, который уже начал виться над кастрюлькой. Когда вода в кастрюльке закипит, я выну концентрат из кармана и всыплю в кастрюльку, и будет каша. Она перестанет говорить о смерти, когда увидит, что я принес ей кашу.

— Пока мама была жива, я все могла, — сказала она. — Ходила за хлебом, носила воду, топила печки. И не только для мамы — для всех. Я все печурки во всем доме знала. Я не хотела, чтобы умирали, я хотела, чтобы жили, жили, жили... Мама перед смертью кричала и плакала. Ничего не понимала, меня не узнавала, и все-таки ей было больно... Может быть больно, если ничего не сознаешь? Как это страшно, когда ничего не сознаешь, а больно!.. Мне, например, совсем не больно... Когда мама перестала кричать и заледенела, я перенесла ее в ту комнату и положила на пол. И упала. Ноги совсем перестали держать. Я приползла оттуда. Я ползла целый час...

— Когда это было?

— Не знаю. Давно.

— Вчера?

— Нет, не вчера. Гораздо раньше. Прошла неделя. Нет, дня три или четыре. Если бы прошла неделя, остановились бы часы...

Я посмотрел на ходики. Одна гиря поднялась к самому верху, другая опустилась почти до пола. Я подтянул опустившуюся гирю.

— Вот я умру, а часы будут идти. Как странно!

— Вы не умрете! — оборвал я ее. — Смотрите, что я принес!

Вода в кастрюльке уже булькала. Я вынул из кармана концентрат и показал Асе.

— Что это?

— Каша! — воскликнул я с торжеством.

— А, — сказала она безразлично.

— Каша! Каша! — повторял я, вытряхивая концентрат в кастрюльку. — Сейчас у вас будет каша! Много каши!

Она молчала, и я думал, что она не понимает или не верит. Но она отлично понимала.

— Вы не съели сами и принесли мне, — сказала она. — А мне не нужно. Вы ешьте, а я посмотрю, как вы будете есть.

— Вы, вы будете есть!

— Я не могу. Вот. Поглядите.

Я не сразу понял, на что она просит меня поглядеть, потому что было уже темно, и я смутно видел ее.

— Вот, — повторяла она. — Протяните руку. Вот. Под подушкой.

Я сунул руку ей под подушку и один за другим вытащил несколько ломтей хлеба.

— У вас есть хлеб!

— Скушайте, — попросила она.

— А вы? Почему вы не съели?

— Не могу. Не глотается. Проглочу — все назад. А я знаю, что это значит.

Я замолчал. Я тоже знал, что это значит.

— И давно это у вас началось? — спросил я тихонько.

— Давно. Еще мама была живая.

— И с тех пор вы ничего не ели?

— Ничего. Мне так лучше. Я это много раз видела. Мне уже есть нельзя.

Я тоже это видел много раз и знал, что если у человека не осталось желудочного сока, он больше никогда не будет есть. И все-таки я продолжал настаивать.

— Каша! — повторял я. — Не сухой хлеб, а мягкая горячая каша!..

— Не надо, — сказала она умоляюще.

И я замолчал.

Совсем стемнело, и только печка швыряла красные прыгающие пятна на пол, на стены. Ася утихла, а я сидел и поглядывал на нее, стараясь отгадать, открыты у нее глаза или закрыты. Но лица ее в темноте не видел. Сквозь гудение печки и тиканье часов я не мог расслышать ее дыхания. Иногда мне казалось, что она уже не дышит... И вдруг она что-то сказала.

Я переспросил. Я не расслышал.

Она повторила, но я не расслышал опять. Я сел на край ее кровати и склонился над нею.

— Капли падали, — выговорила она еле слышно. — Сегодня солнце светило в окно, и я видела, как падали капли. Тени капель, сверху вниз. На солнце уже тает.

— Чуть-чуть, — сказал я. — Совсем еще мало.

— Придет весна, а я ее не увижу... Как странно!.. Когда я умру, мне станет все равно, ведь правда? Кого нет, тому все равно. Правда?

— Правда, — сказал я.

— Вот это страннее всего. Мне никогда не было все равно, и я не могу понять, как это станет все равно.

— Да, — сказал я, — вам будет все равно. Но тем, которые останутся в живых, никогда не будет все равно. И мы всех тех злых дураков, которые сидят вокруг города в снегу и сторожат нас...

— Про кого вы говорите?

— Про них! — сказал я.

Мы в осаде не называли немцев немцами. Мы называли их просто — «они».

— Не надо, — попросила она. — Не надо про них. Я не хочу сейчас про них думать.

И я замолчал. Я понял, что тяжело умирать, ненавидя.

— Я хочу думать про вас, вы последний, кого я вижу. — Голос ее совсем ослабел, и я, чтобы слышать, пригнулся к ее лицу. — Вы пришли ко мне, и я не одна. Я думала: неужели ко мне никто не придет? Это было бы слишком несправедливо. И вы пришли... Скажите, вы когда-нибудь любили? И вас уже любил кто-нибудь? Как это, наверно, хорошо, когда тебя любят и ты любишь. Скажите мне...

Но я ничего ей не сказал. К моим тридцати годам уже и я любил и меня любили, и не раз. Это бывало запутанно и больно, и я бывал виноват и те, кого я любил. Но я не мог объяснить это ей, еще никогда не любившей.

— Я один день любила мальчика, с которым качалась во дворе на качелях, — сказала она. — Мы так раскачали доску, что чуть не влетели в окно третьего этажа. Когда он летел вверх, он нагибался ко мне, и я видела, что он хочет меня поцеловать... Больше я никогда не буду качаться на качелях. Как странно!

Она замолчала. Потом я услышал:

— Поцелуйте меня вместо него.

Я нагнулся и осторожно тронул губами ее губы, не сразу найдя их в темноте.

— Вот так, — сказала она.

XIII

Утром я пошел в порт, а еще через день отправился на медицинское освидетельствование. Меня просветили рентгеном и язвы не нашли. Голод вылечил меня. Я ушел в армию, и следующей зимой мы пробили брешь в осаде. А еще через два года я видел, как мы осадили Берлин, который не продержался и двух недель.

1963.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://chukovskiynikolai.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/
сайт http://petimer.com/ Приятного чтения!